

КУРТ ВОННЕГУТ

СИНЯЯ БОРОДА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

В73

Серия «Эксклюзивная классика»

Kurt Vonnegut

BLUEBEARD

Перевод с английского *Л. Дубинской*

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения издательства Dial Press, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC и литературного агентства Nova Litera SIA.

Воннегут, Курт.

В73 Синяя борода : [роман] / Курт Воннегут ; [пер. с англ. Л. Дубинской]. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 288 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-113086-2

Один из самых причудливых и загадочных романов Курта Воннегута, в котором он обыгрывает не только «мифологию искусства» XX века, но и архетипы «военной прозы» и мотивы древнегреческой мифологии.

Автобиография вымышленного художника Рабо Карабекяна, карьера которого потерпела крах из-за некачественной краски, и история таинственной Цирцеи Берман, пытающейся изменить не только его жизнь, но и взгляды на искусство и свое место в нем, служат лишь обрамлением для притчи, по-новому трактующей известный сюжет творца, его Музы и поисков Вдохновения.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

© Kurt Vonnegut, 1987
© Перевод. Л. Дубинская, 2018
© Издание на русском языке
AST Publishers, 2023

ISBN 978-5-17-113086-2

Автобиография Рабо Карабекяна (1916—1988)

*Посвящаю свою книгу Цирцее Берман.
Что тут еще пояснять?*

Р.К.

От автора

Это роман, но это и трюк, вымышленная автобиография. Не надо воспринимать книгу как серьезную историю абстрактного экспрессионизма, первого значительного направления живописи, зародившегося в Соединенных Штатах Америки. Это история того, как я воспринимаю разные вещи. Не более того.

Рабо Карабекяна никогда не существовало, равно как Терри Китчена, Цирцеи Берман, Пола Шлезингера, Дэна Грегори, Эдит Тафт, Мерили Кемп и всех остальных персонажей этой книги. Что касается реально существовавших, притом знаменитых людей, которые мною упомянуты, то я не заставил их делать ничего такого, чего они не сделали бы, попав в подобные обстоятельства.

Позвольте заметить, что многое в книге — реакция на непомерные цены, которые в уходящем столетии платили за произведения искусства. Фантастическая концентрация банкнот дала возможность некоторым людям и организациям материально стимулировать кое-какие человеческие шалости с неуместной и потому огорчительной се-

ррезностью. Я имею в виду не только детскую мазню, выдаваемую за искусство, но и прочие ребяческие забавы — когда взрослые, как дети, носятся, прыгают или мяч гоняют.

Или пляшут.

Или распевают песни.

Мы для того и существуем, чтобы помочь друг другу справиться со всем этим, как это ни назови.

Доктор Марк Воннегут (из письма автору, 1985 г.)

1

Поставив точку в своем жизнеописании, я счел благоразумным бегло пройти по написанному обратным ходом, и, вернувшись к началу, к моей, так сказать, входной двери, приношу извинения прибывающим гостям: «Я обещал вам автобиографию, но кое-что пошло не так, пока я ее стряпал. В результате биография оказалась еще и дневником минувшего беспокойного лета! Но если понадобится, можно в любой момент послать за пиццей. Входите же, входите».

Я — бывший американский художник Рабо Карабекян, человек с одним глазом. Я родился в Сан-Игнасио, штат Калифорния, в 1916 году в семье эмигрантов. За эту автобиографию я принимаюсь спустя семьдесят один год. Для непосвященных в древние тайны арифметики: сейчас, стало быть, 1987 год.

Я не родился циклопом. Левого глаза я лишился незадолго до конца Второй мировой войны в Люксембурге, командуя взводом саперов, которые — вот любопытно! — в гражданской жизни были художниками разных направлений. Вообще-то мы

занимались маскировкой, но в то время пришлось сражаться за свою жизнь как самой обычной пехоте. Взвод сформировали сплошь из художников, поскольку кому-то из армейских пришло в голову, что по части маскировки художники — то что надо.

И правильно: мы были то что надо! То что надо! Как мы дурили немцев нашими мистификациями. Они и понять не могли, что для них представляет опасность в нашем расположении, а что нет. Да к тому же нам и жить позволялось как художникам, чихать мы хотели на форму да на всякие эти военные ритуалы. Нас никогда не включали в обычное войсковое соединение, такое, как дивизия или там даже корпус. Приказы нам отдавал непосредственно Главный штаб Объединенных экспедиционных сил, который приписывал нас то одному генералу, то другому, а они уже были наслышаны о том, как мы противника сбиваем с толку. Генерал этот ненадолго становился нашим патроном, снисходительно держался, почти всегда восторгаясь нами, и в конце концов испытывал признательность.

И мы были нарасхват.

Поскольку в армию я записался и стал лейтенантом за два года до вступления Соединенных Штатов в войну, то к концу ее должен был бы получить звание подполковника, не меньше. Но, дослужившись до капитана, я сам отказался от повышений — не хотел расставаться со своей славной семьей из тридцати шести человек. Это был первый мой опыт с такой большой семьей. Второй возник после войны, когда я сблизился с теми американскими художниками, которые теперь вошли

в историю искусства как основатели абстрактного экспрессионизма. И не только сблизился, но и ни в чем им не уступал.

* * *

У матери моей и отца там, в Старом Свете, семьи были побольше, чем эти, и уж конечно, у них в семьях все друг с другом в кровном родстве состояли. Родственников они потеряли во время резни, когда Турецкая империя уничтожила около миллиона своих армянских подданных, которых объявила предателями по двум причинам: во-первых, они были умные и грамотные, а во-вторых, у многих имелись родичи по ту сторону границы с врагом, с Русской империей.

Тогда была эпоха империй. Да и сейчас тоже, если разобраться.

Германская империя, союзник турецкой, послала беспристрастных военных наблюдателей оценить, сколько народу погибло в первый на столетие геноцид — слово, которого тогда еще не существовало ни на одном языке. Теперь всем известно, что такое геноцид, это тщательно продуманная операция с целью уничтожения каждого представителя определенного подсемейства рода человеческого, будь то мужчина, женщина или ребенок.

Столь грандиозные планы требуют решения чисто технических задач: как дешево и быстро убить такую массу крупных, хорошо соображающих животных, да чтобы никто не удрал, а потом еще лик-

видировать горы мяса и костей. Турки, поскольку были в этом деле пионерами, не имели навыков для действительно большого бизнеса и не располагали необходимыми техническими средствами. Зато не пройдет и четверти века, как немцы великолепно продемонстрируют и то и другое. А турки просто хватали подряд всех армян, какие попадутся, когда обшаривали дома или прочие места, где армяне работали, отдыхали, играли, молились, учились и так далее, а затем выгоняли их в чистое поле, оставив без еды, питья и крова, и избивали до смерти или палили, пока никого в живых не останется. А уж ликвидировали беспорядок, довершая дело, собаки, коршуны, грызуны разные и совсем под конец — черви.

Мать, которая тогда еще не была моей матерью, только прикинулась мертвой среди трупов.

Отец, который тогда еще не был ее мужем, школьный учитель, спрятался в уборной за школой и так вот среди дерьма и пересидел, пока солдаты не ушли. Уроки уже кончились, и мой будущий отец, как он мне рассказывал, сидел в школе один, сочинял стихи. Услышав, что идут солдаты, он сразу понял зачем. Отец так и не увидел, как убивали. Мертвая тишина в деревне, единственным обитателем которой он, с ног до головы перемазанный дерьмом, остался с наступлением ночи, была для него самым жутким воспоминанием о резне.

Хотя воспоминания матери о событиях в Старом Свете были еще ужаснее, ведь она побывала прямо там, где людей забивали как скот, приехав в Америку, она сумела каким-то образом о резне больше

не думать, ей очень тут у нас понравилось, и у нее пробудились мечты о счастливой семейной жизни.

А вот у отца — нет.

Я вдовец. Моя жена, вторая моя жена, урожденная Эдит Тафт, умерла два года назад. Она оставила мне в Ист-Хемптоне на Лонг-Айленде, прямо у океана, этот дом из девятнадцати комнат, которым владели три поколения ее семьи из Цинциннати, штат Огайо, они по происхождению из англосаксов. Вот уж не думали ее предки, что дом достанется человеку с таким экзотическим именем.

Рабо Карабекян.

Может, их призраки здесь и появляются, но ведут они себя — епископальное воспитание — до того деликатно, что до сих пор никому еще не попались на глаза. Но если бы мне случилось столкнуться с одним из них на парадной лестнице и он или она указали бы мне, что я не имею права на этот дом, я ответил бы: «Вините статую Свободы».

Покойная Эдит и я прожили душа в душу двадцать лет. Она была внучатой племянницей Уильяма Говарда Тафта, двадцать седьмого президента Соединенных Штатов и десятого главного судьи Верховного суда. Она была вдовой спортсмена и директора коммерческого банка из Цинциннати Ричарда Фербенкса-младшего, потомка Чарльза Уоррена Фербенкса, сенатора Соединенных Штатов от Индианы, а затем вице-президента при Теодоре Рузвельте.

Мы познакомились задолго до смерти ее мужа, когда я уговорил ее (и его тоже, хотя это было ее имущество) сдать мне под студию пустовавший амбар для картофеля. Они, конечно, не были фермерами и отродясь картофелем не занимались. Просто купили у соседа-фермера участок подальше от берега, примыкавший к их владениям с севера, — не хотели, чтобы на нем что-то выращивали. Вот как появился картофельный амбар.

Сблизились мы с Эдит только после смерти ее мужа, а к тому времени моя первая жена Дороти с двумя нашими сыновьями Терри и Анри ушла от меня. Я продал наш дом в поселке Спрингс, шесть миль к северу отсюда, и амбар стал не только моей студией, но и домом.

Это странное обиталище, кстати, не видно из самого особняка, где я сейчас пишу.

У Эдит не было детей от первого брака, и было уже поздно их иметь, когда по моей милости из миссис Ричард Фербенкс-младшей она превратилась в жуть какая! — миссис Рабо Карабекян.

Вот и получилась крохотная семья, занимающая громадный дом с двумя теннисными кортами, плавательным бассейном, да еще каретный сарай, да картофельный амбар, да триста ярдов собственно-го пляжа на Атлантическом побережье.

Казалось бы, мои сыновья Терри и Анри Карабекян, которых я назвал одного в честь моего лучшего друга, покойного Терри Китчена, а другого — в честь художника, которому мы с Терри больше всего завидовали, Анри Матисса, могли приезжать

сюда со своими семьями. У Терри уже два сына.
У Анри дочь.

Но они со мной не разговаривают.

— Ну и пусть! Ну и пусть! — Глас вопиющего
в лакированной пустыне.

— Наплевать!

Нервы не выдержали, простите.

Природа наделила Эдит благословенным даром материнства, хлопотуньей она была неумемной. Не считая слуг, жило нас в доме всего-то двое, но вот сумела она наполнить этот громоздкий викторианский ковчег любовью, и радостью, и уютом, своими руками созданным. Хотя всю жизнь она была уж никак не из бедных, а ведь возилась на кухне вместе с кухаркой, в саду с садовником, сама всю провизию закупала, кормила птичек, животных, которых мы держали, да еще диким кроликам, белочкам и енотам от нее перепало.

А еще у нас часто устраивались вечеринки, и приезжали гости, которые жили неделями, — в основном ее друзья и родственники. Я уже говорил, как обстояли и обстоят дела с моими многочисленными кровными родственниками, моими потомками, которые порвали со мной. А что до искусственных, которые в армии появились, так многие из них погибли в том небольшом сражении, когда я сам лишился глаза и попал в плен. Тех, кто уцелел, я с тех пор не видел и про них ничего не слышал. Может, не так они меня и любили, как я их полюбил.

Такое бывает.

Из моей второй искусственной семьи абстрактных экспрессионистов теперь уж мало кто в живых остался: кого старость прикончила, кто сам себя — причины разные. Немногие оставшиеся, как и мои кровные родственники, больше со мной не разговаривают.

— Ну и пусть! Ну и пусть! — Глас вопиющего в лакированной пустыне.

— Наплевать!

Нервы не выдержали, простите.

Вскоре после смерти Эдит все наши слуги уволились. Объяснили, что здесь стало очень уж мрачно. И я нанял других и плачу им кучу денег за то, что они терпят меня и всю эту мрачность. Пока была жива Эдит, жив был и дом, и садовник тут жил, и две горничные, и кухарка. А теперь живет только кухарка, причем, как я уже говорил, другая, и занимает вдвоем с пятнадцатилетней дочерью весь четвертый этаж крыла, отведенного для прислуги. Она в разводе, родом из Ист-Хемптона, на вид лет около сорока. Ее дочь Селеста на меня не работает, просто живет в моем доме, ест мою еду и развлекает своих шумных и жутко невоспитанных приятелей на моих теннисных кортах, в моем плавательном бассейне и на принадлежащем мне пляже.

Меня она и ее приятели не замечают, словно я какой-то дряхлый ветеран давно забытой войны, давно в маразме, и доживаю ту малость, что мне осталось, на правах музейного сторожа. Ну, и нечего обижаться. Этот особняк не только мой дом,

здесь хранится самая значительная частная коллекция живописи абстрактного экспрессионизма. А поскольку я уж десятки лет ничего полезного не делаю, кто я в самом деле, если не служитель в музее? И, как положено служителям, жалованье за это получающим, приходится мне в меру своего понимания отвечать на вопрос, который, по-разному формулируя, непременно задают все посетители: «Что этими картинами выразить-то хотели?»

Эти картины, которые абсолютно ни о чем, просто картины, и все, принадлежали мне задолго до женитьбы на Эдит. И стоят они по крайней мере не меньше, чем вся недвижимость плюс акции и облигации, включая четвертую часть доходов профессиональной футбольной команды «Цинциннати Бенгалс», — чем все, что мне оставила Эдит. Так что не думайте, будто я эдакий американский охотник за состоянием.

Художником я, наверно, был паршивым, зато каким я оказался коллекционером!

2

И в самом деле, очень здесь стало одиноко после смерти Эдит. Все наши друзья были ее друзьями, не моими. Художники чурались меня, так как мои картины вызывали только насмешки, которых заслуживали, и обыватели, поглядев на них, принимались рассуждать, что художники, мол, по большей части дураки или шарлатаны. Ладно, я привык к одиночеству, что поделаешь.

Мирился с ним, когда был мальчишкой. Мирился и в годы Великой депрессии, когда жил в Нью-Йорке. Когда в 1956 году первая жена с двумя сыновьями покинули меня, тогда я уже поставил крест на своих занятиях живописью, я и сам стал искать одиночества, а его обрести не трудно. Восемь лет жил я отшельником.

Ничего себе работенка с утра до вечера для старика-инвалида, а?

Но друг у меня все-таки есть, и это мой друг, только мой. Писатель Пол Шлезингер, такой же старикан, и тоже покалеченный на Второй мировой. Ночует он совсем один в доме по соседству с моим прежним домом в Спрингсе. Говорю — ночует, потому что с утра он почти каждый день у меня. Наверно, он и сейчас где-то здесь, наблюдает за игрой в теннис или, сидя на берегу, глядит на море, а то, может, играет с кухаркой в карты или, спрятавшись от всех, книжку читает вон там, за картофельным амбаром, куда никто и не забредет.

По-моему, он ничего уже не пишет. И я — говорил уже — совсем бросил заниматься живописью. Хоть бы что-нибудь набросал в блокноте, лежащем внизу у телефона, и то нет. Правда, несколько недель назад поймал я себя как раз за этим занятием, так — вы что думаете? — нарочно карандаш сломал, разломил его надвое, точно вырвал жало у ядовитого змееныша, который собрался меня куснуть, и швырнул обломки в мусорную корзину.

У Пола нет денег. Четыре-пять раз в неделю он ужинает у меня, а днем перехватит что-нибудь, заглянув в мой холодильник, из бутылки с соком потянет, в общем, основной его кормилец — я. Много раз за ужином я говорил ему:

— Ты бы продал свой дом, Пол, денежки бы завелись на карманные расходы, и переезжай сюда, а? Здесь же уйма места! Я уже не женюсь и подруги не заведу, да и ты вряд ли. Бог ты мой! Кому мы нужны? Парочка выпотрошенных игуан! Переезжай! Я не буду тебе мешать, и ты мне тоже. Что может быть разумнее?

А он в ответ всегда одно и то же: «Я могу писать только дома».

Хорош дом — ни души, а в холодильнике шаром покати!

А о моем доме он как-то сказал:

— Разве можно писать в музее?

Сейчас вот я и выясняю, можно или нет? Я как раз в этом музее пишу.

Да, правда пишу. Я, старый Рабо Карабекян, потерпевший фиаско в изобразительном искусстве, теперь пробую силы в литературе. Но, как истинное дитя Великой депрессии, я не рискую, крепко держусь за свое место служителя музея.

Что же вдохновило меня, в мои-то годы, переменить ремесло, да так круто? *Cherchez la femme!*

Без приглашения — никак не вспомню, чтобы я ее приглашал, — у меня поселилась энергичная, уверенная в себе, чувственная и весьма еще молодая особа!

Говорит, что видеть не в состоянии, как я целыми днями болтаюсь без дела, надо обязательно